

Николай Подосоковский

Человек на войне: о трех ранних повестях Григория Бакланова 1957–1961 годов

Становление Г.Я. Бакланова, писателя-фронтовика и члена Союза писателей (1956), как одного из зачинателей и лидеров т.н. «лейтенантской прозы» и яркого выразителя «окопной правды», как об этом пишет С.И. Чупринин¹, пришлось на конец 1950-х — начало 1960-х годов и было связано с публикацией трех не вполне «советских» повестей автора: «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959) и «Мертвые сраму не имут» (1961)². Чтобы лучше понять особенности литературного дарования Бакланова и специфику его поэтики, стоит пристальнее присмотреться к этим его ранним текстам, показывающим существование человека в экстремальных условиях войны.

Долгое время эти три повести по понятным причинам рассматривались как своего рода литературно обработанные мемуарные свидетельства о Великой Отечественной или Второй мировой войне, да и в целом под «войной» на протяжении нескольких десятилетий понимали одну-единственную, на которой воевал Бакланов и на которой погибли его братья и многие боевые товарищи. Однако сейчас, в год столетия мастера, строгие привязки его произведений к конкретным биографическим и историческим событиям и войсковым операциям, как мне представляется, уходят на второй план, а на первом оказывается высокохудожественный рассказ о войне как состоянии духа.

К тому же теперь мы точно знаем, что с крушением Советского Союза история не закончилась и войны не прекратились. Бакланов показывает, что, несмотря на всю особость и уникальность Великой Отечественной войны, сама по себе война как массовое убийство из политических интересов одних людей другими несколько не уникальна — она была, есть и будет, и на ней, как и в мирной жизни, проверяется человек на свои главные качества: самоотверженность, страдание, храбрость, приверженность долгу. В повести «Мертвые сраму не имут» Дина, провожающая Васича, задается актуальным и сегодня вопросом:

1 Чупринин С.И. *Оттепель: Действующие лица*. М., 2023. С. 94.

2 Далее тексты этих трех повестей цитируются по изданию: Бакланов Г.Я. *Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1: Южнее главного удара; Пядь земли; Мертвые сраму не имут: Повести / Вступ. ст. Э. Баклановой*. М., 2012.

Об авторе | Николай Николаевич Подосоковский — литературовед, публицист, литературный критик. Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура» ИМЛИ РАН. Первый заместитель главного редактора журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал» ИМЛИ РАН. Автор более ста научных работ. Предыдущая публикация в «Знамени» — «Петровская утопия» (№ 8, 2023).

«Мать моя провожала отца на фронт, когда меня еще не было. И вот я тебя провожаю. Неужели это всегда так, из поколения в поколение?»

Во всех трех названных повестях Бакланов раскрывает мятущуюся, раздранную, искалеченную душу человека, оказавшегося на войне, которая поглотила весь мир как стихия, так что в жизни любого мужчины больше нет и не может быть никакого иного смысла, кроме как всецело предаться этой разрушительной стихии и раствориться в ней. Только размышления о судьбе детей, могущих остаться без родителей или с ужасом взирающих на происходящее (как шестилетний венгерский мальчик в «Южнее главного удара»), порой робко напоминают о чем-то важном, помимо Войны. Вот как это, к примеру, проявляется в описании одного безымянного пожилого пехотинца: «Пока детей нет, ты належке по жизни идешь. А тут уж не о себе думать надо... Он говорил это и жевал сухарь, потому что он был солдат и ему нужно было воевать».

«Жизнь на плацдарме начинается ночью», и с описания ночи начинаются все три повести о советских артиллеристах и разведчиках, которые вот-вот должны добить немцев, но то и дело погибают сами от шальных обстрелов в, казалось бы, нескольких шагах от Победы. Ночь во всех трех повестях холодная, зимняя, ибо время действия в них неизменно происходит зимой. Для Бакланова характерно почти мистическое внимание к положению на небе светил (ночных и дневного), и его герои время от времени смотрят на сияющие звезды в тщетной попытке разгадать их тайну.

«Ночью снимается с позиций и уходит вперед пехота. Рита уходит вместе с батальоном. Я даже не иду прощаться. Так тяжело на душе и так за нее больно! всю ночь над высотами, все так же впереди нас, ярко горит желтая звезда, и я смотрю на нее. Наверное, ее как-то зовут. Сириус, Орион... Для меня это все чужие имена, я не хочу их знать», — размышляет герой «Пяди земли». Столь же притягательной и, вместе с тем, чуждой, раздражающей для него оказывается и луна: «Луна опустилась за трубу, только краешек ее светится над крышей. Сколько миллионов лет она уже вот так восходит и садится? Сколько миллионов лет после нас она будет совершать свой еженощный ход? Или миллиардов? Впрочем, это все равно. Продрогнув, я встаю с камня, и вместе со мной до половины подымается из-за крыши луна».

В «свою счастливую звезду» верит и командир дивизиона майор Ушаков в «Мертвые сраму не имут», но эта вера его не спасает, — возможно, оттого, что он также не хотел знать свою «звезду» по имени. Обреченность горстки уцелевших солдат ушаковского дивизиона подчеркивается «нерасположенностью» к ним самого неба: «Над вершинами леса — гаснущее небо. Ни одна звезда не освещала им путь».

Но уже в повести «Южнее главного удара» показано, как сразу мельчают люди, когда вместо божественных звезд сосредоточивают все свои помыслы на их жалкой подмене — погонных звездочках. «Если бы я месяцев на восемь раньше поступил, так я бы тоже вышел лейтенантом. А теперь вот только с одной звездочкой. И главное, война кончается», — жалуется командир огневого взвода Назаров. «Ей майора нужно. А ты звездочками не вышел», — объясняет Богачеву настроение Тони арттехник дивизиона.

Когда-то другой знаменитый офицер артиллерии, Наполеон Бонапарт, указывал на корабле «Восток» своим спутникам, отправляющимся вместе с ним в Египетский поход, рукой на звезды как на наиболее очевидное доказательство бытия Божия: «Говорите, что хотите, — а кто все-таки сотворил все это?»³

3 Людвиг Э. Наполеон. М., 1998. С. 112.

Для персонажей-артиллеристов Бакланова звезды, судя по всему, как в древние языческие времена, заслоняют собой Бога, но и связь с ними — ущербная, разрушенная, истончившаяся. Недаром все три зачина рассматриваемых нами повестей сразу же указывают на тот свет, которым будут освещены дальнейшие события сюжета: «Небо прояснилось, звезды горели ярко» («Южнее главного удара»); «Над нами черное небо и крупные южные звезды. Когда я воевал на севере, звезды там были синеватые, мелкие, а здесь они все яркие, словно отсюда ближе до звезд. Дует ветер, и звезды мигают, свет их дрожит. А может быть, правда, есть жизнь на какой-то из этих звезд?» («Пядь земли»); «А по снежной, сильно всхолмленной равнине, холодно освещенные высокой луной, двигались уже немецкие танки» («Мертвые сраму не имут»).

Месяцами живущие в землянках разведчики перед лицом смерти обнаруживают в себе особое чутье Матери-Земли, которая порой их «спасительно притягивает». Еще одно бросающееся в глаза свойство этих ранних текстов писателя — их многообразный бестиарий. Немцы пытаются выдать себя за уток, безуспешно имитируя кряканье сигнальным свистом, но их самих при этом сравнивают с гусями:

«— Тяжел был немец, — сказал Богачев.

— Он как гусь по осени, — отозвался солдат охрипшим от натуги голосом, — откормился на чужих полях, чужим зерном».

Один советский пехотинец похвально тем, что на законном основании мог бы отсидеться в тылу, поскольку врачи обнаружили у него «куриную грудь». Персонажи Бакланова «прут медведем», «роют ходы, как кроты», «лезут как обезьяны» и т.п. Звериный облик принимают сами орудия смерти: миномет имеет прозвище «ишака» за издаваемый звук, похожий на крик осла, а боевой комплект батареи (БК) из-за схожего звучания называют «быком». Даже тощая деревенская собака на войне перестает быть просто собакой, но у нее становится различима морда, «как у лисы» («Мертвые сраму не имут»).

Об уподоблении воина зверю ради выживания в сверхопасных условиях писатель пишет впрямую: «За время войны в нас обострились многие чувства, которые в мирной жизни атрофируются у человека. Где-то читал я, как однажды задолго до землетрясения, когда ничего не чувствовали люди, не показывали приборы, животные начали тревожиться. В горах овцы сбились тесно, стояли, упершись лоб в лоб, без корма, без питья, и невозможно было их ни разогнать, ни растащить. Древний инстинкт предупреждал их об опасности. Три года на фронте, в болотах, в лесах, в степи, приучили нас ко многому. Мы задолго чувствуем опасность, внезапная тишина на фронте настораживает нас. В такие моменты мы тесней держимся друг к другу. И роем, роем, каждую ночь глубже зарываемся в землю».

Конечно, уподобление животным не могло не вызвать раздвоения образа — человек начинал походить на оборотня, у которого имеются как бы два разных лица: через обычное, довоенное проступало другое, искалеченное и демонстрирующее хищный оскал войны. «И у Мостового было два лица: одно веселое, бесстрашное, молодое и другое — изуродованное лицо войны. Когда Мостовой хотел, это лицо с оголенным глазом только морщилось, горько и умудренно» («Мертвые сраму не имут»).

В повести «Пядь земли» Бакланов через своего героя саркастически высказывается о пределах т.н. «окопной правды», выразителем которой писателя провозгласила советская критика: «И все вдруг становится понятно и просто. В спокойной обстановке всегда все понятно и просто. Мне уже стыдно, что я верил раненым. Разве можно в бою верить раненым? Когда меня ранило под Запорожьем во время немецкой танковой контратаки и когда потом меня везли в мед-

санбат, я был уверен, что наступление наше провалилось. И в медсанбате (а там лежали исключительно раненные во время этой контратаки) все говорили, что Запорожье нам теперь не взять — будем глядеть на него издали. Даже услышав по радио, не поверили: мы же оттуда, мы лучше знаем. А Запорожье было взято на другой день после той самой контратаки. И оказывается, наступление на фронте шло хорошо. Но мы не видим всего фронта. Для солдата тот фронт, что перед его окопом. И если тут дела плохи, — значит, они плохи на всем фронте. А если еще солдата ранило, и он потерял много крови, и немец выбил его из окопа — ему кажется: фронт рухнул. Он не врет, он сам в это верит. Но я-то чего верил?»

Как отмечает этот же офицер, восприятие войны может быть абсолютно различным даже для тех, кто служит в одном воинском подразделении, но не имеет при этом общих воспоминаний: «И хотя мы служим с Клепиковым в одном полку и все время на одном фронте, у нас с ним нет общих воспоминаний, война для нас настолько различна, словно это две разных войны».

В «Пяди земли» уже была заложена мысль, что есть и два типа ветеранов войны: один — настоящий, часто бывший на передовой, внешне неказистый и не кичащийся своими заслугами; другой — фанфаронский, представительный, увешанный наградами, требующий к себе уважения и внимания, но не имеющий реального боевого опыта. Второй тип для главного героя олицетворяют трубач Мезенцев и его нестроевые коллеги-«музыканты»:

«Он пожал покатыми плечами:

— Пожалуйста, пусть другой, кто умеет, берет мою трубу. Я не напрашивался. Знаете, товарищ лейтенант, — говорит он миролюбиво, заметив, что еще двое на конях свернули к нам, — кому-то ведь и трубить нужно. Я побыл с винтовкой, знаю. А вообще вы не думайте, что в бригаде легко. Тоже ни дня, ни ночи. Во взводе, по крайней мере, свободней было.

Да, вот так и скажет после войны: я побыл с винтовкой, знаю. Кто воевал, тот не скажет, а этот скажет и в нос ткнет. <...>

К Мезенцеву подъезжают конные. Передний, раскормленный и крепкий, с сильными ногами в стременах и толстыми ляжками на седле, с серебряной медалью на полной груди, вытирает платком лоснящиеся от пота, как будто сальные щеки. В потной руке — поводья. Этот тоже из ансамбля, плясун, кажется. Я уже давно заметил, что у таких вот нестроевиков и выправка и вид самые строевые, и обмундирование сидит на них как влитое. Взять его, затянутого в ремни, украшенного медалью, и моего Панченко в засаленных брюках, в стиральной-перестираной, белой от солнца гимнастерке, в пилотке, за отворотом которой вколоты иголки с черной, белой и защитного цвета нитками, да отправить обоих в тыл, да показать девкам — скажут девки, что Панченко где-нибудь всю войну отирался при кухне, а вот этот и есть самый настоящий фронтовик».

Бакланов неоднократно замечает устами своих героев, что на войне могут быть не просто ошибочные, но заведомо преступные приказы, спущенные вниз высшим начальством, озабоченным достижением масштабных целей, на фоне которых рядовые люди — не более чем расходный материал. Что важнее: ускорить наступление, не отступать ни шагу назад или сохранить жизни сотен и тысяч людей? На это нет однозначного ответа. Ушаков из повести «Мертвые сраму не имут» по опыту «давно знал несложную истину: если все неполадки, нехватки собрать вместе, выяснится, что при таком положении воевать нельзя. Однако воевали».

Как внимательный читатель Достоевского⁴ Бакланов создает диалоги о смысле человеческой жизни, достойные героев «Преступления и наказания»

⁴ Бакланов не раз обращался к Достоевскому в своих произведениях, но тема влияния произведений Достоевского на его творчество еще требует отдельного исследования.

и «Братьев Карамазовых»: «Держа перед собой журнал, я спрашиваю спокойно:

— Так, значит, плацдарм — бессмыслица?

Мезенцев молчит. Он вообще остерегается меня. Я откладываю журнал в сторону.

— Что же не бессмыслица?

Он уже не рад, но и отступать некуда. К тому же тревожная обстановка придает ему смелости.

— Не бессмыслица, товарищ лейтенант, это — жизнь, — говорит он грустно, как мудрец.

— Чья жизнь?

Коханюк встает и выходит к стереотрубе. Мезенцев вдруг решился.

— Товарищ лейтенант, вы культурный человек, — подымает он меня до своего уровня. — Вы сами знаете, правда выглядит иногда циничной. Но это потому, что не у каждого хватает смелости посмотреть ей в глаза. Не могу я, остаюсь честным, сказать, что жизнь вот этого Коханюка, — он кивнул на дверь, — дороже мне, чем моя жизнь. Да он и не может ценить ее так. Что он видел?

Мы сейчас все вместе здесь. И едим вместе, и спим, и когда нас обстреливают, так тоже всех вместе. И от этого возникает ложное чувство, что мы всегда будем вместе. И ложный страх: «Как бы обо мне не подумали плохо!» Очень важно Синюкову, что о нем думаю я, если он, может быть, никогда не сможет говорить? Синюков начинает мычать, как от сильной боли. Я молчу.

— Война — это временное состояние, — говорит Мезенцев, все больше волнуясь и покрываясь пятнами. Тяжелый дальний гул толкается в дверь землянки. — Я видел на базарах калек. Ихние товарищи, которые случайно избежали такой же судьбы, после войны постесняются позвать их в гости. Кончится война, и жизнь всех нас разведет по разным дорогам. Да и сейчас тоже... Что говорить, товарищ лейтенант, обстреливают нас всех вместе, а умираем мы все же врозь, и никому не хочется первым».

Неудобная для советского официоза правда Бакланова о войне состояла еще и в том, что автор не обошел в своих повестях и тему не просто «суеверий», но непосредственной веры в Бога на фронте. Эта вера возникает при погружении в воспоминания о матерях, а потому имеет явный богородичный оттенок. В «Южнее главного удара» о Боге и о попытке подменить его материальными вещами вспоминает во время «душевного разговора» с Ратнером Богачев: «Он усмехнулся, подул на пепел, сплюнул под ноги. — Репродуктор у нас дома на буфете стоит. Как откроют дверцу, так он падает оттуда. Бумажный такой, черный, проткнут в нескольких местах. Мать перед ним как перед Господом Богом. Сегодня послушает сводку и успокоится... Он говорил по привычке насмешливо, стесняясь того, что было на душе. И сам он, и его довоенные друзья, и разведчики, с которыми он прошел войну, — все не любили вслух проявлять чувства. А может быть, именно этого всегда не хватало матери, одиноко жившей с ним без отца. Никогда Богачев не задумывался об этом и вот только теперь понял».

В «Пяди земли» Бакланов и вовсе включил в сюжет пронзительную, почти «достоевскую» ретроспективную сцену молитвы главного героя: «Удивительно, как в девять лет я ничего не понимал. Я тогда учился во втором классе, на уроке по труду мы, несколько человек, делали рамку для портрета, я должен был ее закончить дома, нечаянно испортил и боялся сказать. Хорошо помню, как я подумал в тот момент: если мама умрет, никто в школе не станет требовать у меня рамку. Но вечером, когда никого не было дома, а на полу стояла настольная лампа, загороженная газетой, я услышал дыхание мамы. В груди у нее все клокотало и хрипело. При странном свете с пола, от которого все тени были на потолке,

она казалась непохожей на себя. Лицо было в тени, блестели только влажный лоб, скула и худые ключицы. А на одеяле лежала мамина рука с набухшими венами и плоским ногтем на большом пальце. Родная мамина горячая рука, которая всякий раз, когда я заболел, гладила меня по лицу. Мне вдруг страшно стало. Я убежал на кухню, стал в углу на колени, прижался лбом к батарее парового отопления, на которой сосед сушил валенки, и молился. Впервые в жизни молился. «Господи, родной, дорогой, не нужно!.. Любимый Господи, сделай, чтоб мама не умерла!..».

Писатель больше никак не комментирует первую в жизни горячую молитву своего персонажа, но из текста ясно главное: Господь его услышал, и мать была спасена, а страх отступил. Такая правда о мироустройстве в произведениях писателя была едва ли не более подрывной для насквозь атеистической системы, чем иные описания политических вольностей солдатского быта.

Ощущение солдатами иной, более подлинной и светлой реальности, в которой нет мертвых, но все живы, иногда проступает через их сны. Задремавший старшина Пономарев видит «летний синий день» и капитана Демиденко, который еще в сорок первом году был убит под Хомутовкой, пытаясь прорваться из окружения. Веселый Демиденко идет по линейке, «отражая солнце каждой пуговицей», а старшине мерещится, что в никелевом раструбе трубы, которую приставил к колену другой приснившийся ему трубач, «уместился весь сияющий мир». Пробудившись от этого видения «с легким сердцем», старшина снова попадает в мир радикальных технических подмен: вместо солнца ему светят в глаза фонариком.

Автор несколько раз акцентирует внимание на том, что в целом отнюдь не суеверные люди на войне начинают видеть, слышать и все воспринимать совершенно по-особому. Слишком заметная мрачность накануне боя может быть считана чуткими окружающими как «печать смерти» на лице солдата: «Беличенко не был суеверен, но он уже не раз замечал: как только у опытного, нетрусливого человека появится вот такое настроение, его непременно убьет в бою, либо ранит» («Южнее главного удара»). Особый взгляд человека незадолго до гибели отмечают и другие персонажи.

Говоря о неписанных законах и приметах войны, «у которой и нет никаких законов, и в то же время есть», можно выделить следующие «суеверия» и опытные наблюдения героев Бакланова.

«Кто пришел в армию худой — поправится, пришел полный — похудеет»;

«Нередко судьбы и трагедии миллионов начинаются судьбой одного человека. Только об этом забывают почему-то»;

«Из “суеверного чувства” нельзя думать, что будет со стреляющим в тебя врагом, когда ты находишься под его обстрелом».

«На фронте у каждого свой передний край»;

Относительно наступления врага и подобных вещей, «как правило, мы не говорим наверняка: “Нет”. На всякий случай, словно не желая испытывать судьбу, мы говорим: “А черт его знает”»;

«В армии не спят, в армии отдыхают, в лучшем случае»;

«Больше трех раз пехотинец в атаку не ходит. Либо вчистую, либо в госпиталь!»;

«Опасность лучше всякой проверки сортирует людей. И сразу видно, кто — кто»;

«Артиллерист должен быть всегда выбрит и слегка пьян»;

Есть «дурные места», которые «неприятно действуют» на человека, притягивая (или сами создавая?) для него опасность — их надо уметь вовремя почувствовать и, по возможности, их избегать;

«За тех, кто жалеет себя в бою, другие расплачиваются кровью. Это закон войны», и т.д.

Разумеется, у всех этих и других принципов есть свои исключения, о чем также рассказывает автор. Удивительно и то, благодаря какой, казалось бы, незначительной «случайности» один солдат может погибнуть, а другой, наоборот, спастись. Мостовой вспоминает об одном немце, который непонятно почему отпустил его с товарищем в самом начале войны. Он не спорит с Васичем, убежденным, что фашист «всю Европу ограбил», и что все немцы, «и хорошие, и плохие — одно поганое дело сообща делают», но все же у него есть свое представление о справедливости: «И то правильно, и другого не откинешь <...>. Вот я живой здесь стою, а мог бы давно в концлагерях сгнить. Немцы тоже разные, и один за другого отвечать не должен». Его чувство благодарности чудесным образом спасает жизнь неизвестного высокого немца, забирая, впрочем, в жертву Смерти вместо него другого. На первый взгляд это можно объяснить странностями слишком долго воевавшего и поневоле предавшегося разным суевериям человека, но мы не знаем в точности: был ли пощаженный немец только похож на того, или это и на самом деле был он, а некая высшая, мудрая сила побудила советского воина «отдать долг» — жизнь за жизнь. По большому счету, это и не важно, важно лишь то, что свой долг он все-таки отдал, пусть и другому.

«Мостовой задержал на мушке высокого немца — тот шел в цепи озираясь, — повел ствол автомата с ним вместе. Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который еще оставалось жить немцу. У самой черты он задержался: чем-то этот немец напомнил Мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенко в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо, и на мушку взошел другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск».

Если в начале всех трех повестей господствует ночь, освещаемая звездами и луной, то в самом финале всегда появляется «Непобедимое солнце», напоминающее, что главная битва происходит в другом измерении и что всегда есть те, кто подхватят оружие павших: «А немецкие самолеты все еще кружились над восходом, бросая бомбы. Но солнце подымалось за спинами солдат, всходило над снегами Венгрии, огромное, неодолимое, по-зимнему красное, и маленькими казались разрывы, пытавшиеся его заслонить» («Южнее главного удара»); «Прогоняют еще группу пленных. Мальчик сидит у меня на колене. Я тихонько глажу по спутанным волосам его теплую от солнца голову, а он играет моим оружием» («Пядь земли»); «Издали донесся глухой гром бомбежки. Возвращаясь, самолеты облегченно и весело взблескивали на солнце металлическими крыльями» («Мертвые сраму не имут»).

Секрет обаяния прозы Бакланова состоит в честном описании жизни перед лицом смерти, когда только и раскрывается в своем истинном масштабе каждый человек.